

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Презумпция вины

ФЕВРАЛЬ

Вот уж две недели, как солнце скрылось за облаками. Дни стояли тусклые, бесцветные, свет рассеивался, точно через слюдяное окошко. И оттого, наверное, с каждым днем все сильнее донимала странная немочь: бессилие — не бессилие, тоска — не тоска, — как если бы жизнь уходила по капельке, как если бы вовсе не надобно было никакой жизни.

Стояла вторая декада февраля. Еще в январе снег сошел и настала мучительная неопределенность: с рассветом размякало, и от волглой земли стылым паром поднималась влага, сползались отовсюду туманы, и оттого было вокруг серо, грязно и беспросветно; к вечеру же пускался из ложбин ветер, подмораживал наст, волок невесть откуда, из рукава, просыпавшиеся снежинки, искусственные и как бы несвежие, без запаха, будто не снежинки это были, а выкрашенная в белое пыль.

Дома, деревья, столбы, мостовые сливались в одноцветье, в унылую гамму плесени: желто-серое, грязновато-серое, выцветшее, как старое пальто в заплатках. Небо едва светилось, как в долгую полярную ночь. Звезд по ночам тоже не было. Вот уже несколько бесснежных лет все это называлось коротким и теперь уже обманным словом: зима.

Мне было плохо и печально, я был убит этой зимой наповал. А если не убит, то выведен из равновесия, слаб и немощен, я постоянно хотел спать, но едва закрывал глаза — сон не шел, взамен наваливалось сомнамбулическое состояние отрешенности: мне было все равно, где я и что со мной происходит. И в то же время ничего особенного со мной не происходило, если не считать неумейной волчьей тоски; но и тоска, казалось мне, была всего лишь приметой февраля, приметой непохожей на самое себя зимы.

Такое состояние объективно сказывалось на ходе самой жизни. По утрам я долго приходил в себя, был разбит и измучен трудно уходящей ночью, долго лежал в постели с закрытыми глазами и тяжестью в области сердца и ни о чем не мог думать — только несвязные обрывки миновавшего бытия проносились передо мною. Все, что было прожито, казалось пустым и напрасным, а преходящее не сулило избавления от напрасности прошлого.

Затем я трудно выпрастывал из-под одеяла ноги, заворачивался в халат и шел по дому — из комнаты

в комнату, раздергивая по ходу пыльные шторы и впуская плесенный свет зябнувшего за стеклами полуобморочного сада. Свет нехотя тек сквозь дымчатый тюль, по подоконнику, наползал на письменный стол, кресла, густо размазывался по паркету и наконец всплывал к лицу сизым табачным облаком.

«Кажется, еще рано, — думал я, тщетно борясь с состоянием разбитости и дремоты. — Пожалуй, пойду лягу...»

Но на обратном пути звуки, будто кто-то высаживает дверь, заставляли менять планы: со двора ломился в дом кот Абрам Моисеевич, названный так в честь покойного моего приятеля, человека во всех отношениях достойного и порядочного, в отличие от этой сволочи кота. Кот был выпущен вечером на свободу как особь, не приученная ловить мышей и мстительно метившая в доме углы, и вот теперь изволил прибыть к завтраку.

— Знал бы Абрам Моисеевич, как ты без него испаскудился! — отпирая дверь, злобно грозил я коту. — Еще раз, сволочь, нагадишь — убью!

Кот отзывался нечленораздельно — небрежным хриплым баритоном, по пути к холодильнику, где — он точно знал — припасена была ливерная колбаса и десяток молочных карасиков, поставляемых специально для Абрашки рыбаком-соседом.

— «Февраль. Достать чернил и плакать...» — неторопливо ошкуривая шмат колбасы, декламировал я протяжно и гнусаво — назло коту, шалеющему от стихотворной речи.

— Мяу! — ответно орал кот, зыряка желтыми разбойничьими глазами, выпускал коготки и нетерпеливо торкал, цеплял меня за полу халата.

Наконец, вытребовав свое, наглая животиная с увесистым колбасным шматом в зубах ускользала за табурет и угрожающе рычала на меня оттуда.

Затем я отправлялся к волнистым попугайчикам, Глаше и Гоше, всякий раз поднимающим тарарам, когда у них на глазах кормили кота, сыпал им зерно, чесал пальцем тщедушную Гошину грудку, а тот небожно грыз меня за палец.

— Ах ты подкаблучник несчастный! — бормотал я Гоше, с улыбкой припоминая, как купленная ему в пару Глаша, наплевав на приличия, в первую же минуту знакомства загнала неумелого дурня в угол и по-хозяйски взгромоздила лапу ему на спину. — Сейчас тебе женка покажет...

Опосля наступало мое время. Я плескался холодной водой в ванной, нехотя брился, натягивал брюки — и в зеркалах то и дело мелькала кислая физиономия немолодого человека, слегка бульдожья, с узкими глазками и просвечивающей ото лба к затылку плешью. В эти мгновения я был противен себе, не хотел узнавать себя такого и бурчал зеркалам с ненавистью: «У, кацапская рожа!», точно и в самом деле внешность моя переменилась и с возрастом я все больше стал походить на курносый материнский клан из казанских россиян. А ведь смолоду больше походил на отца: был узок лицом, тонок губами и прям носом.

После с неприятным привкусом во рту, каковой случался в последнее время после сна, я выпивал натошак пять сырых перепелиных яиц — один идиот сказал, что мужчинам в моем возрасте сие показано весьма и весьма, а я и поверил, полоскал рот какой-то разрекламированной дрянью, чистил облысевшей щеткой накуксившиеся ботинки.

— «...сладкие сны, дивные грезы весны», — пел я при этом фальшивым тенором, впрочем, без особого энтузиазма, пробуя голосовые связки после перепелиных яиц.

— Мяу! — вторил мне из кухни кот, дожирая колбасу.

Но минут через десять, одевшись, я вдруг спохватывался: не слышно кота, кот подло притих — значит, метит где-нибудь угол!

— Кис-кис! Иди, дам молока! — тянул я, усахаривая голос.

Через мгновение тишины раздавался грохот, кот стремглав ломился из гостиной в кабинет и там затаивался, скотина. И откуда коту было помнить мой характер? Однако же — помнил! Под едкие запахи кошачьей метки я вооружался шваброй, несся в кабинет и неистово орудовал ею под диваном.

— Мяу! — злобился кот, не сдаваясь, потом позорно пытался бежать, но бывал пойман за шиворот, обмокнут носом в собственную лужицу и безжалостно выкинут из дома.

«И поделом! — думал я, ополаскивая руки. — Одно только интересно: умышленно пакостит или тварь сия безмозгла, а потому — безответственна?»

Наконец я выбирался из дома — из тепла в промозглый февраль, ежился, нахохливался, по-черепашьи втягивал под шарф подбородок, щурил глаза на скудном утреннем свете, будто сослепу.

По давней традиции я сначала огибал угол дома и выходил в сад. Там все было серо и печально, как и бывает в эту пору года: поникшие яблони и груши, жеваная подгнившая травка на дорожках, остов обезводившегося в прошлом году колодца, древний орех с зубчатыми обломками там, где некогда были могучие ветки.

«У человека — инфаркты, у деревьев — надломы, — гладил я ореховую кору, старую, в глубоких морщинах и наростах. — Все, что случается на веку... Ничего не проходит даром...»

Еще я зачем-то заглядывал в колодец — там было неглубоко, каких-нибудь пять или шесть железобетонных колец, сухо и пыльно, дно было устлано остатками ореховых листьев, из коих высывалась неизвестно как проскользнувшая сквозь звенья металлической решетки одинокая ветка. Еще один мир, колодезный космос, вселенная со своими законами и правилами бытия-небытия!

— У-у! — гудел я в этот провал и вслушивался.

Но колодец в ответ безмолвствовал — ни отклика, ни эха, ни движения воздуха, как и положено заброшенной мертвой планете, спящей миллионы лет — и еще одну осень и одну зиму.

И оттого мне становилось еще более тоскливо и одиноко. Я шел из сада, как уходят с поля боя, растеряв людей и знамена, а за спиной слетались уже вороны...

Улицами и закоулками я шел на бульвар, и во мне было пусто и глухо, как в высохшем колодце. Мне было жаль колодца — его выкопал некогда, задолго до моего рождения, дед, и, сколько себя помню, был этот колодец не чищен и полон темно-зеленой стоячей воды. В прошлом году я наконец взялся за него: вычерпал воду, очистил дно от песка и ила, — но вода тут же ушла, необъяснимо и странно. Как говорится, благими намерениями... А может быть, это наказание за какой-нибудь мой грех, давний и неведомый мне до срока?

Бульвар — мое любимое место в городе. Два ряда деревьев с расхристанными вороньими гнездами, умолкнувший фонтан с замусоренным дном, давно не крашенные скамейки, относительное безлюдье — так покойно бывает еще только на кладбище или в сквозном лесу на поляне. И напротив, меня бесят базары и вокзалы. И отвращают больницы. Недаром, думаю я, животные и птицы уходят умирать или зализывать раны в потаенные уголки, с глаз долой, а людей свозят в одно отвратное место

и приходят смотреть на их агонию, словно в зоопарке наблюдают на приморенных обезьян.

Впрочем, сие — эмоции, а ведь бывает еще жизненная необходимость...

И вот я шел по бульвару, подняв воротник и засунув руки в карманы. Безветренно, пыльно, бесснежно, градусник, наверное, на нуле. Я шел и думал: хорошо жить на свете, но и очень печально. Через какие-нибудь пятьдесят лет меня не будет, и это печально; но не менее печальным было бы, будь все это вечно: работа, сухость во рту, боль в спине, необходимость жить и общаться. Наверное, правильнее всего было бы даровать каждому возможность *выбора*! Выбора — жить или умереть, по крайней мере. Выбора мгновения, когда *это* настанет. Безболезненного выбора, как у гиперборейцев, когда смерть наступает только от пресыщения жизнью. Думаю, в таком случае и перенаселения не было бы — не такая у нас светлая жизнь, чтобы цепляться за нее изо всех сил! Но выбор — за пределами наших возможностей и потому мучит недостижимостью, как и все на свете, что нам не дано.

Но я, как всегда, отвлекся, — а ведь я шел по бульвару, солнца не было вот уже две недели и потому казалось: силы из меня уходят — с каждым мгновением этого проклятого февраля. Мне все больше хотелось вернуться домой и лечь в постель — так наваливалась и давила утомленность прожитой уже жизни.

«Господи, а что же тогда впереди? — думал я и об этом тоже, точно впереди ничего хорошего уже не ждало меня. — Все одно и то же, и завтра будет то, что было уже вчера. И люди будут такими же, только вырастут другие дома и деревья. И бульвар, может статься, исчезнет — а люди все так же будут ходить здесь, жить и умирать, и все будет однообразно, как круговорот воды в природе».

В кофейне я раздевался и садился у окна — за стеклом, отделяющим меня от бульвара. Здесь было тепло, ненавязчиво звучала музыка. И бульвар оставался рядом со мной — протяни только руку и коснешься какого-нибудь предмета — ветки, дерева, облицовочной плитки фонтана, — но вместе с тем становился как бы виртуальным, будто недавнее прошлое, будто мгновение, только что миновавшее.

«Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от самого себя ушел...»

Там, в недавнем прошлом, из невидимой мне тучи вдруг посыпались, полетели редкие продрогшие снежинки, *здесь*,

сейчас, пахнуло от чашки густым горячим кофе. Все смешалось, с каждым мгновением что-то уходило и взамен тут же приходило новое; и это непреднамеренное течение оставалось непрерывным, неожиданным, и звалось оно просто: жизнь.

Новый день начинался — а старый все не заканчивался во мне...

Признаться, ежедневный утренний кофе, да, собственно, и само посещение кафе с претенциозным названием «Роза пустыни» со временем стало для меня своеобразным ритуалом, — впрочем, как и езда на автомобиле, и чтение по вечерам. В остальном день мог разниться, — но не выпить чашечку кофе, не прокатиться из пункта «а» в пункт «б» и в который раз не перечесть на ночь глядя прозу Бунина или Казакова... Само собой, ритуал рано или поздно должен был перерасти в нечто большее — в образ жизни, а образ жизни — породить *предвосхищение* предстоящего действия: пути от работы к бульвару, размеренности шага, все тех же неровностей асфальта, скамейки, на которой часто сидел потерявшийся в жизни старик и жевал, жевал деснами мякиш хлеба, соскальзывающей по диагонали с фонарной дуги к земле голодной вороны, мерных колебаний макушек лип в вышине, крохотной, дымящейся коричневым пойлом чашки, разделения на *там* и *здесь*, прочерченного витринным стеклом. Душа моя с раннего утра ждала и *предвосхищалась*. И уже *здесь*, глоток за глотком, предвосхищение постепенно оборачивалось умиротворенностью: все идет так, как заведено, как должно идти!

А тут еще полетели снежинки — сначала редкие, мимолетные, затем за окном словно вспорхнула белоснежная тюлевая занавеска, и все замерехтело кругом (точнее украинизма «замерехтело» и не отыскивалось теперь). Все законное как бы исчезло, укрылось за снежной ретушью, тогда как пространство кафе, напротив, съежилось, сжалось — и я оказался один на один сам с собою. Так в детстве, забираясь под стол и занавешиваясь, отгораживаясь от окружающего мира каким-нибудь покрывалом, внезапно ощущаешь таинственную и упоительную отрешенность одиночества, уют и неожиданный покой для души. Кто я, что я, зачем? — не это мучит, а нисходит внезапная благодать единения со временем и пространством, мысли растворяются в ощущениях и чувствах, и оказывается, что быть частицей чего-то вседвлюющего удивительно, приятно и хорошо.

Снег... Деревья... Бульвар — почти пустой, со снегом наискосок, из темного — в светлое... Утренний полумрак кафе... «Меня. Ничто. Теплое. Не коснется. Покроюсь инеем...» Кофе стынет, светло-коричневая пленка поверху

напитка превращается в бурую... Горечь во рту не сладостна, но привычна — как данность... Предощущение, перетекающее в *сейчас*...

Девушка у стойки, пообвыкшаяся здесь, приноровившаяся ко мне и к моему ежедневному ритуалу и потому, наверное, кажущаяся равнодушной, вопросительно поднимает бровь: еще чашку? Естественно, всенепременно — еще этой горькой, невкусной, бодрящей дряни! Девушка молода и некрасива и в то же время красива своей молодостью, плоским животом, молочной кожей, взглядом, за которым — предложение и вопрос. Девушка — в начале жизни, еще не истоптана, еще в уверенности, что не по ней катит каток бытия — это она идет в светлое будущее, легко и свободно. Она еще не раздавлена безжалостным колесом... И в этом незнании истинной стороны ничтожного существования человеческого — ее прелесть, как в цветке, который только готовится распуститься.

Как мне хочется порой возвратиться в это *незнание*! Куда там! Давно уже я законченный циник и пессимист, хотя изредка хожу в церковь и во что-то непознанное и призрачное якобы верую, — и однако же истинная вера никак не вяжется с такими «добродетелями», и оттого в храме мне всякий раз немного не по себе. То есть я маятник, я слабовольный тип с колеблющимся, неустойчивым мироощущением, смеющийся над тем, во что очень хочу поверить.

— Приятного аппетита! — меняя чашки, говорит мне девушка — точно в пустое пространство.

Вблизи она кажется еще некрасивее — незавершенный, торопливый слепок с натуры скульптора-недоучки: узкогубый рот, приплюснутые крылья носа с навсегда въевшимися светло-коричневыми веснушками, невыразительные бесцветные глаза, кудряшки волос над ушами. Смазанная, незапоминающаяся, безликая внешность. Едва отвернулась, а уже не можешь вспомнить — *какая*.

Интересно, кто ее любит по ночам, какова она в постели: стыдлива, или, как теперь принято, развязна, готова на все, и есть ли у нее принципы, доверяет ли чувствам или ищет денег? Живет она чем, что интересно ей, а что проходит мимо нее — любовь, книги, истина? Главное для нее заработок — или еще что-то ей нужно?

Чем дольше живу на свете — тем больше проскальзывает мимо меня людей пустых, не наполненных высшим, в моем понимании, смыслом бытия. Вот и девушка эта — можно ли, разливая в кафе коньяк и ежеминутно отвечая на пошлости

посетителей, любить, положим, Чехова? Хотя, признаться, знавал я заслуженных учителей-филологов, знакомых с Чеховым исключительно по хрестоматии, — и что с того? Что плохого в том, что по утрам подает мне чашку кофе юная девушка с пустыми глазами, если в этих глазах нет, положим, ненависти или утомленности после навсегда угасшей любви?

Поколебавшись, я заказываю вдогонку пятьдесят граммов коньяка и бутерброд с красной икрой — не оттого, что люблю коньяк или заимел барственные замашки, просто уходить не хочется, а дремать над замерзающей чашкой с остатками кофейной гущи как-то не с руки.

Кроме того, в кафе заходит еще один постоянный клиент — вальяжный, лощеный, на грани увядания тип со странной, сродни замысловатому ругательству, фамилией Геглис, невидяще кивает барышне у стойки, а в мою сторону с презрительной вежливостью шевелит густыми гусеничными бровями.

За этим Геглисом интересно наблюдать: всегда он изысканно одет, наглажен, от него разит дорогим одеколоном, и, главное, всякий раз он приходит с какой-нибудь женщиной или девушкой, и эти сопровождающие дамы редко повторяются у него. Видимо, зарплата профсоюзного деятеля, каковым вот уже много лет бессменно является этот Геглис, а также умелое распределение профсоюзных путевок позволяют этому типу пить по утрам коньяк и обещать глупым напомаженным курам манну небесную, — думаю я с некоторой долей зависти. И хоть профсоюзный деятель неплохо смотрится в его годы — даже в компании с такой юной мордашкой, как у сегодняшней спутницы, я невольно принимаюсь отмечать в нем изъяны и недостатки, как то: пошло щелкает пальцами, подзывает сонную официантку, и после долго обдергивает и выправляет задравшийся рукав пиджака, и брови у него стариковские, клочковатые, кожа пергаментная и желтая, со складками, а из ушей и носа торчат проволочные перекрученные волоски...

— А-ха-ха! — сдержанно смеется девушка, и из-под ресниц, соскальзывая с Геглиса, на меня вдруг выплескивается секундный заинтересованный взгляд — как бы ненароком, случайно, ни о чем и одновременно о многом говорящий.

Я немедленно втягиваю живот и прячу глаза за коньячным бокалом — так легче наблюдать, оставаясь незамеченным. Что-то неуловимое знакомо мне в ее взгляде.

«Точь-в-точь Анна! Ее глаза, — через мгновение-другое беззвучно восклицаю я. — Или у них у всех, молодых, один оценивающий взгляд: не прогадала ли? может, переметнуться, пока не поздно?..»

Восклицаю, немедленно припоминая свое, сокровенное, — ту «блудницу с монашеским обликом», которая зовется Аннетой, Анной, Аннушкой, любит в себе поразительное сходство с молодой Ахматовой, такие же гибкость стана и профиль, и которая вот уже год как принимает меня в своей обители, удерживает за полночь и нараспев декламирует после акта плотской любви: «И загадочней древних ликов на меня поглядели очи», — единственное, на мой взгляд, стихотворение поэтессы, достойное внимания потомков...

«И однако же как они все похожи, пока молоды!»

И эта туда же... Что она нашла в пыльном молодящемся чучеле по фамилии Геглис? Какая все-таки дисгармония — сейчас только сорванный, в утренней росе, цветок соседствует в вазе с цветком увядающим, позавчерашним! У нее удивленно-наивный взгляд девственницы, осознанно готовящейся к пороку, просчитывающей в уме барыш от предстоящей ночи, на ней высокие сапоги, в каких некогда щеголяли на Западе проститутки, и короткая юбчонка, у нее умопомрачительные коленки, выставленные напоказ как самый ходовой товар. Нет, все-таки я наговариваю на нее от зависти к Геглису: у девушки красивая неглупая мордашка — может быть, оттого неглупая, что я не слышу, *как и что* она говорит.

А вообще-то, хорошо жить на этом свете — в отдельные мгновения бытия!

И мир за окном удивительно красив, думаю я неспешно, насытившись соглядатайством, и наконец сполна окунаюсь в ощущения иного порядка — в солоноватый привкус икры и спиртной коньячный дух в пузатом бокале. Как целомудрен и свеж снег! Как меняется ощущение жизни, едва застит по бульвару белым, а в редких прорехах облаков вдруг искренне блеснет голубым! Как, вероятно, влажны ресницы и брови у женщины, пересекающей дорогу от бульвара к кафе, и как нечаянно счастливы ее глаза! Господи боже мой, вот оно, счастье! В случайном мгновении, от которого ничего не ждешь, в отключении от осознанной жизни, в уходе в бессознательную природу естества. Лишь только начнешь размышлять — и конец, мысль пожирает очарование жизни. Мысль всегда алчна и конечна, бессмертной душе с нею не по пути. Но здесь-то и тупик, я сам себя загнал в

силлогическую ловушку: мне не интересна бессмысленность существования, сие есть минутная слабость, за которой последует не «какой снег за окном», а «что для меня этот снег».

— Не хотите выпить со мной коньяку? — неожиданно для себя подозревая жестом официантку, спрашиваю я, хотя наперед знаю ответ: запрещено с посетителями... не пью на работе... камеры наблюдения...

— Заберите меня отсюда, — вдруг говорит она подсевшим, странно сырым голосом, точно плакала минуту назад, и по ее глазам я понимаю: она, как и я, наперед знает — никуда не заберу, это тот случай, когда слова не облакаются в дело, просто выплеск эмоций, авитаминоз, солнечное голодание, неожиданный снег за окном...

Вот оно, думаю я, совпадение противоположных начал, когда посыл разный, а результат один. Такие мгновения сближают людей непохожих, друг другу чужих и чуждых, и после они недоумевают: как это угораздило, зачем?

Ну где ты, Геглис? Не тебе одному топтаться по юным клумбам...

Я улыбаюсь и отечески киваю: да, милая, сейчас поедem, вот только допью коньяк и дожужу бутерброд; в ответ она вздыхает, морщится, будто просыпается в чужой комнате, и идет за стойку, уже забыв обо мне, тупо подчиняясь ходу времени и обстоятельствам обыденной жизни. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана...» И ничего не меняется, все как было прежде и как будет впредь, и хотя говорят: нельзя дважды войти в одну реку — река все та же, а перемены незаметны для глаз, и вообще — существуют ли они, эти перемены, для живого, сущего? Время стоит — это мы безвозвратно сквозь него пробегаем...

Я неспешно вдыхаю аромат из бокала и пью, глотаю маленькими глотками — в последние годы коньяк противопоказан моей печени, но все так же ложится на душу, — и тут уж я ничего не могу с собою поделать. Счастье — это, как правило, сиюминутное, мимолетное, необратимое: внезапный снег над бульваром, рюмка коньяка, глоток воздуха, случайная связь, строчка стихотворения, забытая мелодия, эпизод фильма, воспоминание о былом, улыбка ребенка... Выходит, я счастлив теперь, в эти мгновения бытия, — или это счастье обманчиво, как сновидение, и я сплю наяву? А когда пробуждаюсь, возвращается обыденная жизнь с несправедливостью,

обманами и унижениями, разочарованиями, болями, растянутым во времени умиранием, наконец, смертью?

«Жил-был я. Стоит ли об этом?..»

У Трифонова есть повесть «Предварительные итоги». Как и все его повести — о тщетности бытия. Если подвести итоги моей жизни на сегодняшний момент — в целом она ничем замечательным не наполнена. Но если расчленить на мгновения... Вот как сейчас... Действительно, не в том дело, что я где-то учился, работал и работаю теперь, что построил и обиходил дом — дело в том, как пахли липы за окном института в какой-то из дней моей жизни, как впервые пришел я к любимой женщине и ушел за полночь, какие у нее были необыкновенные, неповторимые глаза и волосы...

Черт с ней, с печенью! Я пью, и питье наполняет теперь мою жизнь смыслом. Пока я могу делать то, что делаю, пока идет снег из ситцевой тучи, и оттого сгустился вокруг меня полумрак, за стойкой горит тусклая лампа и у незнакомой девушки пляшут по щеке желто-лимонные отблески — что-то во мне длится, какой-то свет, продолжение бессмертного «я»...

Но наконец коньяк выпит, бутерброд съеден, а уходить не хочется, — вот только официантка уже изготовилась у кассового аппарата, неприлично засиживаться, мы не на Западе, а Геглис все воркует, сволочь, и такое прочее, закономерности жизни...

— Приходите еще, — говорит официантка сквозь меня, и я вдруг думаю: какой она ребенок по сравнению с моими годами, а ведь сказала «Заберите меня отсюда», значит, что-то во мне еще не отталкивает, а напротив...

— Всенепременно! Сдачи не надо.

Я неловко кланяюсь, и тут девушка впервые осмысленно смотрит мне в глаза, но во взгляде этом отнюдь не то, что польстило бы моему самолюбию. И пусть, и ладно. Хотя, если предложить энную сумму...

«Старый, отвратный козел на капустной грядке!»

БУЛЬВАР

Я выхожу в снег — и мягкие прохладные прикосновения снежинок к лицу пробуждают во мне давно забытую нежность. «Очарованье! — думаю я, запрокидывая голову. — Очаровательный бульвар. Очарованье. Слово-то какое — из погаснувших лет, из забвения, издалека!»

Снежинки мелкие, густо сваливающиеся по диагонали, пронизывают сквозное пространство крон — преимущественно тополей и лип, мягко ложатся на ресницы и брови. После двухнедельной серости и пыли — чистый день, ощущение младенчества и невинности, как после отпущения грехов в храме. Как выстиранные простыни, прихваченные морозом. Или как нетронутое, девственное озеро после очищающей адским жаром парной.

Господи, да святится!..

Бульвар тянется, по-кошачьи выгибаясь позвоночником, к парку, а там река между крутых каменных берегов, через реку — головокружительная дуга пешеходного моста. В каждом городе, где бы ни был, я отыскиваю бульвар, и когда нахожу — точно благодать Божья нисходит на душу. Ни лес, ни река, ни море не ощущаются душой так, как место моего обитания на земле. Я человек города, тихого провинциального городка с кривыми улочками, неширокими тротуарами в асфальтовых выбоинах и трещинах, с пучками ржавой травы у просевших от времени фундаментов и заборов, с древней церковью на возвышении и непременно бульварным пробором в центральной части, где растут каштаны, липы и тополя, чинно сидят на скамейках старики и старухи, обнимаются и целуются напоказ влюбленные, носятся за голубями дети, дремлют и беззубо жуют бомжи с потерянными глазами, бродят бездомные, брошенные человеком собаки. Здесь — многое из того, что питает меня ощущением непреходящей жизни, место созерцания и покоя, где мысль соприкасается с чувством. Здесь, наконец, я изредка бываю в ладу с самим собой.

Собственно, а кто такой я? Откуда взялся, за какой надобностью? Я не помню прошлого, оно только снится мне иногда. Значит ли это, что я не жил прежде и до моего рождения все в мире происходило без моего чувствования и участия? Право, непостижимо! Но многожды непостижимее то, что и после смерти все будет происходить без меня. Или

где-то душа моя продолжит существование, может статься, в ином облике, смутно вспоминая обо мне как о ком-то нереальном и бестелесном?

Тут мне становится грустно, и, чтобы не походить на брошенного пса с опрокинутыми вовнутрь слезящимися глазами, того, что роется сейчас в мусорной урне, я усилием воли переключаюсь на то, что вовне.

А вовне все так же идет снег, вокруг бело и прохладно. У кафе «Старый город», за глаза именуемого «Хромой лошадь», где по вечерам собираются опрокинуть рюмочку и выкурить сигарету дорогие проститутки, студенты расположенного неподалеку агроэкономического университета в перерыве между учебными парами наскоро жуют хот-доги, курят и пьют из бутылок пиво. У многих синие от холода носы и губы, кое у кого — затрапезный вид, точно у безработного бруклинского негра, — увы, и к нам добралась эта никчемная американская мода, когда на тебе не то разношенный спортивный костюм с мешком-капюшоном, не то спецовка разнорабочего не по росту. Проезд по сторонам бульвара закрыт, и студенты заполнили дорогу, точно крикливая стая ворон, но нет-нет какой-нибудь водитель нагло проезжает под запрещающий знак и припарковывается вдоль тротуара, — еще одна примета времени, когда многие открыто пренебрегают существующими правилами и законами. Студенты во время лекций пьют, водители не соблюдают правил, пешеходы переходят дорогу, где вздумается, как священные коровы в Индии. Как говорил персонаж какого-то фильма, все мы живем в стране непуганых идиотов...

Расслабленной походкой я перехожу дорогу, и у меня за спиной вдруг лихо проскакивает под запрещающий знак и припарковывается у входа в кафе серебристый «Лексус». Чтоб тебя! Невольно я вздрагиваю, ощущаю между лопаток сквознячок, но в то же время меня охватывает неистребимая тоска по автомобилю: хочется немедля сесть за руль и ехать, ехать, ехать. Но я знаю, что при моем образе жизни пеший ход — панацея от многих бед, и потому усилием воли ускоряю шаг: прочь, прочь! — от инфаркта, инсульта, гиподинамии, от ноющей боли в коленках, от склеротических бляшек в сосудах, от всяческой иной дряни, подло донимающей всех нас на исходе жизни.

Кто бы мог подумать, что в таком возрасте я буду спасаться ходьбой от старческих болячек, хотя, по моему глубокому убеждению, для меня еще не прошла пора

волочиться за женщинами, кутить с ними в кафе и ресторанах, отплясывать рок-н-ролл и возвращаться домой на рассвете. Но это — как мысли о смерти, которая случается с другими, но для меня никогда не наступит. Ах, а ведь совсем недавно я был еще горяч и подвижен! И вот молодость ушла, а чувство, что все еще впереди, осталось. Парадокс, да и только! Оптический обман сущего, иллюзия бессмертного «я». А в итоге все будет, как и всегда было. Без исключения. Без жалости. Без снисхождения к тем, кто, возможно, достоин иного...

Так, может, не ползти по бульвару, а ухватить за хвост улетающую жизнь и нестись, мчаться в вихре событий и чувств, пока не расшибешься где-нибудь на повороте — раз и навсегда?! Как этот молодящийся Геглис-шмеглис... Взять с собой Аннету — и в Карпаты. Или на юг: зимнее море, обледенелый пирс, живое женское тепло под доступной кофточкой, прерывистое дыхание, бесстыдные губы... Если конец один, то — ярко и со вкусом, а не затхло, в подштанниках и с горшком под кроватью... Эх-ма! Безмозгло, скучно, однообразно, безнадежно устроен человек: когда есть силы и молодость, он приготавливается жить, а едва приготовился — уже, в сущности, ничего не может...

По бульвару наискосок, по направлению к управлению внутренних дел, тараканьим ходом побежали сотрудники управления службы безопасности; им навстречу, растекаясь по закоулкам и кафе, рванули оперативники управления по борьбе с организованной преступностью. Две конкурирующие службы располагались по обе стороны бульвара, по своеобразной диагонали, и после ежедневной пятиминутки, как всегда взмыленные и пропесоченные, опера неслись «на отходняк»: выпить кофе с коньяком и выкурить сигарету, в ближайшей подворотне «перетереть» с нужным человеком, озадачить шкурным вопросом перепуганного бизнесмена, слить информацию друг другу.

— Здравсьте, Евгений Николаевич!

— Евгений Николаевич, кофейку?

— За компанию... А, Евгений Николаевич?..

Я важно, с достоинством киваю, не поворачивая головы и поджав губы, порой сдержанно улыбаюсь тем, кто мне симпатичен, но опера не моего поля ягода. И пусть сегодня суббота, у меня выходной и я мог бы позволить себе не тащиться на работу, а расслабиться за чашкой-другой... Нет, близкие мне по положению и духу люди сегодня в отъезде, а пить с кем ни попадя — дурной тон пролетающих

по жизни впустую, ничего путного не добившихся неудачников, наподобие засидевшегося у меня в старших прокурорах отдела Павла Павловича Мешкова. Этот хоть и добрый малый, но живо намешал бы в компании с каким-нибудь опером водки с пивом!

А еще томление духа и какая-то неистребимая горечь — февраль и снег, февраль и снег — увлекают меня, точно в черную слепую воронку, прочь от шума и суеты — все вниз и вниз по бульвару.

Я пересекаю перекресток и иду по последнему отрезку бульвара, за которым — хаотически перечерченное заскорузлыми, дрожащими от холода ветвями пространство парка, грязновато-черное с белым.

«Вот так, положим, бесцельно шел бы человек моего положения, моей наружности, с моими комплексами и недостатками — вполне невинный, утомленный жизнью человек, и вдруг произошло бы нечто из ряда вон, — думаю я, безуспешно пытаюсь побороть все-таки привязавшуюся исподтишка меланхолию. — Послышались бы за спиной торопливые шаги, позвал бы какой-нибудь робкий голос, малознакомый, так, нечто смутное, дальние ассоциации... Как-нибудь так позвал бы: «Евгений Николаевич!...»

— Да, дорогой?

— Евгений Николаевич, если можно — на два слова! Только где-нибудь в стороне... Я Арапов, из отдела по борьбе с коррупцией. Вы меня, наверное, не помните, — я всего несколько месяцев, как в отделе...

Арапов? Какой такой Арапов? Не помню никакого Арапова!

Я делаю удивленные глаза и в то же время недовольно нахмурываю брови, складываю ижицей губы, с усилием вдыхаю ноздрями прохладный воздух: мол, какого лешего тебе, Арапов, от меня надо — в субботу, да еще не по чину?!

Опер округлый, чернобровый, похожий на правовежного татарина, приготавливающего бешбармак: руки бегают, в глазах — затравленность новичка, трудно привыкающего к каждодневным разносам и матерщине. И еще страх: как бы кто не увидел и не донес до начальства о преступной инициативе «снизу». С доношением у нас и в самом деле порядок: как же не доносить, ежели служба велит?! Свои же и донесут! Хотя о чем, собственно, речь? Говорят, на Западе стукачество давно уже стало доблестью, а у нас все еще как бы постыдно. Другое дело негласно — приятно и, главное, полезно кое-кому нашептать на ушко...

Так в чем же дело, Арапов?

Опер по касательной наконец ловит мой взгляд и тут же уводит глаза в сторону и просительно взмахивает бровями: мол, пойдём спрячемся от греха... И сам же семенит в сторону, в боковую парковую аллею, к детской площадке, где в праздничные дни дамы определенного толка любят выпить и закусить на природе с незнакомыми мужиками. «Эй, мужчина! — в какой-то миг припоминаю я зазывное воркование одной из таких дам, плывущее от скамеечек, качелей, маленьких деревянных домиков. — Выпить не хотите? Все-таки праздник...» Надо же, сколько всего схлынуло и забылось, а это вдруг вспомнилось!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)